

журнал
критики и литературоведения

ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Январь — Февраль 2010

В НОМЕРЕ:

Пророки конца эона

**Лица современной литературы:
Г. Цвель, И. Меламед, В. Маканин**

**«Дело Вальбе»:
проблема плагиата в современном
литературоведении**

Встречи с Маяковским

Беседа с Татьяной Бек

МОСКВА

СОДЕРЖАНИЕ

История идей

- 5 **И. РОДНЯНСКАЯ.** Пророки конца эона. *Инволюционные модели культуры как актуальный симптом*

Литературное сегодня

Лица современной литературы

- 57 **И. РАШКОВСКАЯ.** «Мне нравится, как он уходит...» *Глеб Цвель*
69 **Е. ИВАНОВА.** Опыт преодоления боли. *Игорь Меламед*
84 **В. КОЗЛОВ.** Экзистенциальный задачник. *Владимир Маканин*

Книги, о которых спорят

- 105 **М. АМУСИН.** Панацея от испуга

Век минувший

- 125 **А. ТУРКОВ.** «По сведениям, полученным от...» *В защиту «черной кости»*
130 **К. АЗАДОВСКИЙ.** О плагиате
143 **Е. ЧИЖОВА.** «И смогу сделать только я...»

-
- 161 **В. ПЕРЕЛЬМУТЕР.** Фрагменты о Шервинском

Филология в лицах

Ю. Н. Чумаков

- 200 **М. ВИРОЛАЙНЕН, С. БОЧАРОВ.** От поэтики к универсалиям
212 **К. ИСУПОВ.** Имманентная поэтика и поэтология имманентности

История русской литературы

- 227 **Г. КРАСУХИН.** Соавторы Белкина

Над строками одного произведения

- 247 **Ю. БАРАБАШ.** Казаки и свинопасы. *Т. Шевченко: фрагмент «Юродивый» — перечитываем заново*
277 **Е. ПОГОРЕЛЬСКАЯ.** «В дыму и золоте парижского вечера...» *Исторический и литературный контекст рассказа И. Бабеля «Улица Данте»*

Вадим ПЕРЕЛЬМУТЕР

ФРАГМЕНТЫ О ШЕРВИНСКОМ

...Накануне своего восьмидесятилетия Шервинский позвонил мне и попросил заглянуть.

Ему — «за многочисленные заслуги» — дали какой-то орден, и теперь, так сказать, по статусу, юбилейный вечер в Большом зале ЦДЛ должен был вести один из секретарей Союза писателей, причем выбор — за юбиляром.

Сергей Васильевич изучил список — и тут выяснилось, что он никого не знает, то есть просто-таки не имеет представления: ни как выглядит, ни что сочиняет.

Единственное исключение — Наровчатов, с которым несколько лет назад вскользь познакомился в Ереване на каких-то литературных действиях, побеседовал минут двадцать по пути с выступления в гостиницу. Впечатление благоприятное, но вполне может быть ошибочным. Вот он и решил, как выразился, «уточнить».

Я за несколько лет до того занимался в литинститутском семинаре Наровчатова, бывал дома, разговаривал за чаем — не только о литературе, — знал людей, помнивших его тростниково-стройным и ярко-синеглазым, только что вернувшимся с войны. И сказал Шервинскому, что

ничего особо «компрометирующего», если не считать «официального конформизма», за Сергеем Сергеевичем, по моим сведениям, не числится.

Сын хабаровского профессора, блестяще начитан, обладатель дивной библиотеки, пакостей, вроде бы, не делает, даже подчас помогает попавшим в затруднительное положение, если, конечно, это не связано с делами политическими. В общем, человек порядочный...

«Сподобил же Господь, — медленно произнес Шервинский после задумчивой паузы, — дожить до поры, когда слова “порядочный человек” стали положительной оценкой. В наше время это подразумевалось...»

Примерно полгода спустя это имя снова всплыло в одном из разговоров наших. Шервинский упомянул, что попала к нему в руки книга Наровчатова «Необычайное литературоведение». И произвела впечатление.

«Оно и впрямь *необычайное*, — дивился Сергей Васильевич, — там, например, говорится, что “Евгений Онегин” писан *четырнадцатистрочными октавами*». Я напомнил — из Вяземского: «Ум и перо мои обмолвились», — дескать, именно такое и с Наровчатовым случилось. «Вы правы, — согласился Шервинский. — Но дело в том, что он *мог так обмолвиться*»...

К восьмидесятилетию я послал Сергею Васильевичу телеграмму: «Низкий поклон благодарности — Вам, проносящему через железный наш век золото вечных стихов»...

Месяца через полтора, при встрече — мельком — в ЦДЛ, он поблагодарил, припомнив ее, сказал, что очень рад, если производит на меня *такое* впечатление.

О прозе поэта. В 20—30-х годах Шервинский подолгу жил в Петрограде-Ленинграде. Однажды, зайдя к Кузмину, сообщил ему, что Луначарский добился возможности давать пенсию немолодым писателям, неспособным, понятно, прокормиться в «новой эпохе». Надобно только написать заявление на имя наркома просвещения.

«А вы не могли бы, не в службу, а в дружбу, — попросил Кузмин, — написать это заявление за меня?» — «Но почему?» — «Видите ли, Сергей Васильевич, — беззащитно улыбнулся Кузмин, — я ведь в прозе ничего писать не умею. Кроме, разве что, моих ужасных романов». Шервинский, много работавший с артистами над *речью*, явно имитируя Кузмина, по-питерски, полуакцентом, «округлил» первое «о» и по-московски чуть растянул «а»...

Шервинский о Кузмине: «...У него была... — помолчал, ища эпитет, нашел, видно было, что *пробует* про себя, проверяет, и, наконец, — розовая аура»...

Он имел обыкновение — держать паузу, молча пробуя на точность наиболее *значащее* во фразе слово.

Однажды я спросил, бывал ли он на «Никитинских субботниках»?

Никогда. Хотя с Евдоксией Федоровной был, конечно, знаком. Да и кто из литераторов не был? «Она ведь одно время была замужем за Борисом Этингофом. Вы знаете, кто это?» — «Конечно. ГПУ, Наркоминдел, потом издательский начальник». — «Вот-вот. И на собраниях у Никитиной... — (пауза) — *сквозило*»...

Осенью 1972 года мы с Аркадием Акимовичем Штейнбергом задумали провести в ЦДЛ вечер, посвященный Волошину. Поэзия волошинская пребывала под негласным полузапретом, стихи упоминались, иногда цитировались, имя автора из литературоведческих перечислений цензурой не вычеркивалось, однако о *вечере* этой поэзии речи быть не могло. По счастью, был такой цикл вечеров — «Мастера поэтического перевода», затеянный Творческим объединением художественного перевода, где Штейнберг в ту пору был заместителем председателя. Конечно, Волошина в *классики* перевода никак не зачислить, но все же он стихи переводил, преимущественно французов, да и книжку Верхарна издал, и в критике своей о переводах иногда писал. Таким образом, повод нашелся. И дату мы в приглашениях обозначили, хоть и не привычную, а с намеком на *юбилейность*: «95 лет со дня

рождения и 40 лет со дня смерти». Короче, в «План мероприятий» сие действо включили. И стали готовиться.

Первым делом отправился я к Шервинскому. Говорю, что без него я этого вечера представить себе не могу. И не хочу. Он помолчал. Потом сомнениями поделился: не рискованно ли *показывать* Волошина «во-первых» — переводчиком. Все-таки его переводческие достижения, как бы это поверней назвать, пожалуй, *небесспорны*. Так ведь повод нужен, отвечаю, а про переводы на вечере одно выступление будет, ну, полтора, остальное — стихи, Коктебель, словом, *Волошин...* «Тоже верно». Пауза — подлиннее первой. Потом — этак задумчиво, как бы издали начиная: «Ну, что я вам могу о Максе рассказать? Например, так...» И минут тридцать замечательной импровизации, повествования, где личные воспоминания-впечатления перемежаются отступлениями об атмосфере *Волошинского* Коктебеля, о характере и повадках хозяина Дома Поэта, о поразительной слиянности прожитого и сделанного...

Если бы я не знал наверное, что о цели моего визита он, пока не заговорили, не догадывался, ни за что не поверил бы, что вот так, без подготовки...

«Вас это устраивает?» — «Вполне». — «Вот и хорошо»...

Полтора месяца спустя, 24 января 1973 года. ЦДЛ. Черед выступать Шервинскому. Он с полминуты задумчиво глядит в переполненный зал. И медленно, как бы не совсем уверенно произносит: «Ну, что я вам могу о Максе рассказать? Например, так...» И неторопливо повторяет, чуть не слово в слово, во всяком случае, без малейших *смысловых* различий, все то, что рассказывал мне...

На следующий день я позвонил — поблагодарить. И восхититься — никогда прежде с подобным не сталкивался: «Ну что вы, — отвечивал Шервинский, — это ведь некоторым профессиональным лекторам свойственно — повторять в точности для *других* слушателей (он слегка подчеркнул это «*других*») то, что уже однажды — и дважды, и трижды — было сказано, но так, словно оно только что пришло на ум, здесь и сейчас. А у меня лекторский

опыт немалый — и в архитектурном институте, и в театральном училище»...

Трагедийность мироощущения, столь магнетизирующая потомков, для современников, даже *понимающих* и *разделяющих*, не то чтобы утомительна, скорее — лишена ореола исключительности. Одно дело — держать в руках «самиздатский» список или, наконец-то, получить книгу, настроиться на стихи, временно отодвинуть все прочее. Совсем другое — слушать стихи в исполнении автора: когда у него, у автора, есть время, желание, настроение. Да еще известна такая авторская особенность: снова и снова читать то, что считает наиболее у себя важным и удавшимся.

И вот лет двадцать друживший с Волошиным Шервинский пишет в Коктебеле: «Сегодня Макс читает. Будет скучно, / Не каждый день к стихам наклонен ум. / В десятый раз уж внешнешь равнодушно, / Как пострадал пресвитер Аввакум...», — ему вторит Шенгели, вернее, Кузмин в пародии Шенгели 1925 года: «...И, прочитав в сто первый раз “Протопопа Аввакума”, / Сесть во гробе / И вскрыть вены, / И чтобы в щель / Светила заря...».

Если не ошибаюсь, в конце 1973 года в Союзе художников — на Гоголевском (он же Пречистенский) бульваре — открылась первая в Москве выставка акварелей Волошина. Не встретив на вернисаже Шервинского, я позвонил ему, тревожась — здоров ли? Все же — за семьдесят...

Беспокойство было напрасным. День спустя мы беседовали у него в кабинете. Оказалось, что не поехал он на выставку, потому что не хотел встречаться с «Марусей», с Марьей Степановной Волошиной. Обижен на нее...

Несколькими месяцами раньше его навещал Купченко. Оставил несколько газетных вырезок со своими публикациями. В частности, из феодосийской газеты под заглавием «Литературный Коктебель». Все материалы для писания автор, литературовед еще не очень опытный, получил, как видно, от Марьи Степановны. В результате там не упомянуты обитатели и завсегдатаи ни одного из «литературных» домов Коктебеля, кроме Дома Поэта. На-

пример, дома Габричевских: ни сам хозяин — историк и философ искусства, но и переводчик Гёте, ни блестящий исследователь и переводчик античной литературы Борис Ярхо, ни Шервинский, ни многие еще.

«А мы, смею думать, — заключил Сергей Васильевич, — к *литературному* Коктебелю имели некоторое отношение. Но Маруся творит легенду о Максе как единственном: кто не рядом с ним, внимания не стоит. Ее воля»...

Так постепенно, строка за строкой, создавался, я бы сказал, Максимиально-Волошинский образ Коктебеля.

Длительность жизни условна. Равно как обыденное представление о ней — да и о самом времени.

К девяностолетию Шервинского вышел том его переводов из Овидия. Предисловие написал пятидесятилетний Сергей Ошеров, послесловие — семидесятипятилетний Вильгельм Левик. Среднее и старшее поколения признанных переводчиков почтили таким образом, можно сказать, Мафусаила отечественного художественного перевода.

В послесловии Левик писал, что в 30-х годах в стихотворном переводе господствовала «буквалистическая школа» и что Шервинский был одним из лидеров этого направления, а потом сумел *перестроиться*.

Сергей Васильевич объяснял ту *метаморфозу* иначе: «Просто я тогда еще не очень хорошо умел переводить».

И добавлял: «Буквализм — это непонятый Фет. Буквализма не существует. Буквализм — это неудавшаяся точность». — «А почему вы не возразили Левику?» — «Зачем? Он так думал»...

За год с небольшим, пока издавалась книга, не стало ни Ошера, ни Левика. Шервинский немного не дожид до ста...

Его отец, Василий Дмитриевич, знаменитый профессор-медик, был лечащим врачом Тургенева и... Маяковского. И *последнего лицеиста* — князя А. Горчакова. Того самого, кому «под старость день лица...»

Из разговоров. На вопрос, удобно ли мне к нему ездить, я ответил, что — вполне, по прямой на метро: живу

в Сокольниках, близ больницы имени Остроумова. С которым отец Сергея Васильевича был хорошо знаком — вместе профессорствовали в Московском университете.

«Да, они с Алексеем Александровичем были приятели, — кивнул Шервинский. — И мы всей семьей не раз бывали у него в гостях. И дома, и на подмосковной даче — совсем близко от этого места, где мы с вами сейчас сидим, на Воробьевых горах».

Остроумов был страстный садовод. Однажды, после благостного обеда на лужайке перед домом, повел он Василия Дмитриевича полюбоваться своими садовыми достижениями. А в завершение той прогулки очутились они в залитом солнцем дальнем углу, где торчали из земли, робко листьями шевеля, субтильные прутики, в рост человеческий, не выше.

«А это, — гордо сообщил Остроумов, — мои яблоньки. Я в позапрошлом году посадил зернышки, и вот, глядите, какие красавицы взошли!» — «И когда же, Алексей Александрович, — поинтересовался гость, — они плодоносить-то начнут?» — «А вам, Василий Дмитриевич, — обиделся хозяин, — все бы жрать!»...

Вскоре после выхода в 1983-м однотомника Овидия в переводах Шервинского «Художественная литература» вознамерилась было выпустить объемистый том избранных переводов Сергея Васильевича. Покуда эта книга *маячила*, мы не раз обсуждали — какую она могла бы стать. В частности, не стоит ли после Катуллы и Овидия дать «Римские элегии» Гёте и таким образом как бы обозначить переход от античности к *новой* европейской поэзии.

Выглядит логично. Когда бы не одно-единственное, но весомое возражение: сам Шервинский считал, что именно эта работа, которую в 1933 году издала «Academia», как он выразился, не вполне ему удалась. Казалось, на том разговор и закончился. И вдруг: «...Хотя, пока эта улита будет ехать, я, пожалуй, успею поправить “Элегии” и довести их до желательного состояния».

Как о деле решенном, само собой разумеющемся. На десятом десятке.

Несколько месяцев спустя выяснилось, что издание не состоится. «Элегии» остались нетронутыми...

А жаль. Не случилось третьего *возвращения* Шервинского в 30-е годы.

В 1973-м «Художественная литература» предложила ему переиздать перевод «Метаморфоз» Овидия, выпущенный издательством «Academia» в 1937-м; Шервинский перечитал ту книгу — и ответил, что не может «подписать старую работу», что в сорок лет еще не знал и не умел, *как надо*, переводить и теперь либо должен изрядно ее переделать, либо не возражает, если издательство закажет перевод кому-нибудь другому.

Заказали... Шервинскому. И он, как сам говорил, «процентов на пятьдесят» наново переложил по-русски поэму в двенадцать тысяч строк. А когда книге пора было выходить, *пожертвовал* издательству итальянское издание, по которому работал, — чтобы «Метаморфозы» предстали русскому читателю с иллюстрациями Пикассо.

Несколькими годами раньше подобная участь постигла «Буколики» и «Георгики», которые та же «Academia» издавала в 33-м: для тома Вергилия в «Библиотеке всемирной литературы» Шервинский практически заново перевел эти поэтические книги о пастушестве и земледелии.

За год до выхода тома, читая в кругу поэтов-переводчиков фрагменты этих книг, Сергей Васильевич — в ответ на восторги слушателей — сказал, что его заслуги преувеличиваются, просто древнекитайские мыслители были правы: человек истинно созревает к семидесяти годам...

Шервинский родился на Пречистенке, в доме 17, некогда принадлежавшем отцу декабриста Ивана Библикова, а в 1835 году купленным у него Денисом Давыдовым. Жили они в комнатах на втором этаже, если с улицы смотреть, — слева от входа. Про дом этот много чего известно. И я легко выяснил, что именно эти комнаты в конце 1820-х годов снимала В. Сольдейн, добрая знако-

мая Пушкина и Вяземского, у нее на балу Пушкин встречался-танцевал со своей будущей женой.

Рассказал про то Шервинскому. Он улыбнулся: «Я не знал. Да признаться, не придаю этому особенного значения... Но все же приятно: что-то... шекочет. Хотя, вероятно, у нас у всех такое *шекотливое* отношение к Пушкину».

Несколько лет спустя я напомнил Шервинскому про тот разговор — когда он рекомендовал меня в Союз писателей. Сказал, что рекомендация поэта, выпустившего первую книгу еще до Первой мировой войны, «приятно шекочет»...

Впрочем, упоминание о декабристе тоже не осталось без последствия. И я услышал рассказ о том, что семья Шервинских и с декабристами соприкоснулась довольно близко.

Дед Сергея Васильевича, Дмитрий Иванович, начал с военной службы. И в конце 1840-х годов, будучи совсем еще молодым человеком, получил назначение — военным губернатором кавказского города Шемахи. Там он заболел малярией («лихорадкой») и, чтобы поправиться, перевелся, благодаря семейным связям «в верхих», в Тобольск, где служил помощником при генерал-губернаторе Западной Сибири князе П. Горчакове.

И в 1856-м, в год освобождения декабристов из ссылки, именно он двум из них — М. Фонвизину и И. Пушину — первый сообщил об амнистии.

В семейном архиве сохранились письма к Дмитрию Ивановичу от жены Фонвизина, Натальи Дмитриевны. В одном из них даже намечалось путешествие — по освобождению — Фонвизиных вместе с Пушиным и Шервинским по России, обозначался маршрут. Однако поездка не состоялась. Фонвизин заболел и через год умер. А его вдова потом вышла за Пушина...

«У меня этих писем семь, — продолжал Сергей Васильевич. — Как-то я отправился в Ленинград, к историку Милице Нечкиной, главному нашему “специалисту по декабристам”, это было года в 30-х, может быть, даже в 20-х. И что вы думаете: не проявила ровно никакого интереса!» — «Да, наши историки удивительно нелюбопыт-

ны», — «Ничего удивительного. Ведь вся наша история попала в руки Михаила Николаевича Покровского. Я его хорошо знал. Это был урод, — Шервинский помедлил, словно поискал слово помягче, не отыскал и продолжил резко, — просто урод!»

Знаменитый, добавлю, тем, что именно ему принадлежит определение истории — как «политики, опрокинутой в прошлое»...

Ныне письма эти — в Московском Пушкинском музее.

Кстати, о ссыльных. Я упомянул однажды — в разговоре о Вяземском — работу Сергея Дурылина «Декабрист без декабря». Шервинский не был с нею знаком, предположил, что не обратил на нее внимания, видимо, потому, что напечатана она под псевдонимом — «Ник. Кутанов».

А Дурылин писал ее... в ссылке — в Томске. Обнаружил в тамошней библиотеке нецензурованный набор собрания сочинений Вяземского и, сравнивая с цензурованным изданием, пришел к выводам замечательно интересным и глубоким.

Опубликовал в двухтомнике «Декабристы и их время», изданном в 1931 году... «Обществом политкаторжан и ссыльных».

Исследованные им *цензурные разночтения* особо любопытны еще и потому, что собрание сочинений издавал муж любимой внучки Вяземского Екатерины Павловны граф Сергей Дмитриевич Шереметев, близкий к Александру Третьему, тем не менее цензура безжалостно повымарывала многие записи 20-х, 30-х, 40-х годов...

«Да, эту работу я упустил, — повторил Шервинский. — Дурылин-то со мною был “на ты”. Мы дружили (чуть заметный нажим на «дружили». — В. П.). А вообще-то я к его трудам отношусь очень критически... Вот и в Коктебеле, в *Волошинском обществе*, он на многих производил впечатление человека... легкомысленного. Все ведь знали, что он — недавний расстрига. Особенно его легкомыслие бросалось в глаза в сравнении с обликом жившего там тогда же Сергея Михайловича Соловьева. Однажды, когда мы затеяли “молодое веселье”, я отправился к

Соловьеву и позвал его присоединиться. А он показал на свою короткую куртку и сказал, что «и так эти ризы слишком облегчены»...

В 1965-м Шервинский с женой съездили в Италию. Конечно, не вдвоем — в группе писателей-туристов. Им это не мешало. По-итальянски Шервинский изъяснялся легко, гид не был надобен. И они с утра «отрывались от коллектива», бывали, где хотели.

В Генуе к ним в попутчики напросился Слуцкий. Зашли в пару музеев, в галерею Palazzo Rosso, побродили, разглядывая дома, по улицам и переулкам. День выдался жаркий. Устали, хотелось пить. Шервинский сказал, что через два квартала, направо, будет очень милая маленькая trattoria, можно выпить чаю.

Когда устроились за столиком, Слуцкий поинтересовался, откуда Сергей Васильевич знает это место.

«Я здесь уже раза два завтракал, — отвечал Шервинский, — в тринадцатом году»...

Летом 60-го в Тарусе Шервинский редактировал переводы Штейнберга из Топырчану. Книга получилась замечательная. Когда несколькими годами позже Штейнбергу предложили в Гослите подписать договор на перевод «Потерянного рая», он, конечно, согласился, но при одном — непременно — условии: редактором этого перевода будет Шервинский и никто иной.

Возражений не последовало.

За двадцать лет знакомства Штейнберг, прекрасно знавший, что работаю обыкновенно до глубокой ночи, звонил мне по утрам лишь дважды. Один раз — прочитать только что, ночью, сделанный перевод из Гейне. Другой, если не ошибаюсь, в 1977 году — сообщить, что Шервинского ночью увезли в больницу и сразу — на стол. Тяжелая полостная операция. Восемьдесят четыре года — не лучший возраст для такого случая...

Часов до шести я сдерживал желание набрать номер. Потом не выдержал — позвонил. Но не Елене Владимировне, это боязно, ежели дело плохо — что говорить? — а в соседнюю квартиру, к дочери. Откликнулся ее муж, все-

мирно известный альтист Федор Серафимович Дружинин. Я осторожно спросил: «Как у вас дела?» — «Неплохо. Я был у Сергея Васильевича, он еще в реанимации. Мы поговорили минут сорок. Он мне рассказал, что лежал и размышлял о некоторых особенностях перевода “Потерянного рая”»...

И я задохнулся — не метафорически, буквально, воздух стал ртом хватать. От зависти. Понимая, что *так* — никогда не смогу.

Штейнберг умер в августе 84-го.

Тридцать первого декабря мы говорили о нем с Шервинским.

«Я хотел послать Наталье Ивановне телеграмму, но — вам покажется наивным — не решился это сделать, потому что не знал ее фамилии». — «Штейнберг. А в девичестве — Тимофеева». — «Я не был уверен в том, что она носит фамилию Аркадия Акимовича. Помню, когда мы с ним работали над “Потерянным раем”, он говорил мне, что они с Наталией Ивановной *живут во блуде*». — «Ну да, они поженились — или, как принято выражаться, “зарегистрировались” — уже после “Потерянного рая”; кто-то из друзей по этому поводу острил, что теперь Штейнбергу пора приниматься за “Возвращенный рай”». — «Мне Аркадий Акимович говорил, что надо бы, конечно, перевести, только поэма-то послабее»...

Из разговоров. О переводах с украинского. «Никогда их не делал. Слишком близкие языки. Три строки ложатся одна к одной, а четвертая всё портит».

Есть стихи столь *музыкальные*, что еще немного — и «сами запоются». И мнится: нет ничего проще, чем положить их на музыку.

Есть книги столь *зримые*, что словно «просятся» на сцену или на экран. Кажется, следуй внимательно и аккуратно тому, что написано, и написанное станет действием.

В обоих случаях провал много вероятнее успеха. И чем буквальной следование за написанным, *существующим*, тем безнадежней итог.

У стихов и музыки — разный звук. Чем полнее и *содержательней* в стихотворении звуковые и ритмические возможности слова, тем меньше «зазоров» для проникновения — извне — *интерпретации музыканта*, той мелодии, какая слышалась — при чтении — композитору.

С прозой — иначе, но не проще.

У театра/кино и литературы — различные, если угодно, *меры интимности*. Первые стремятся к об-общению: зал — чем больше, тем лучше, шеренги кресел, локоть к локтю, вздох к вздоху, всякое переживание умножается на число зрителей... Вторая — раз-общает: один на один с книгой, и чтобы никто не мешал...

Принято думать, что основная трудность — ничтожный шанс *угодить всем*, совпасть с уже сложившимся у каждого читателя собственным представлением (то бишь разыгранным в воображении действием). Потому что у каждого — *свой*: Гоголь, Достоевский, Булгаков...

Шкловский писал о сложности сочинения и постановки — в советское время — комедий: попробуй рассмешить «сразу двенадцать инстанций»...

Есть и такое, но оно не причина — следствие.

Можно более или менее искусно передать — *что* написано. Неясно — существуют ли способы передать — *как*.

Простенький пример. В одной из новелл Кржижановского вскользь упоминается желтый *плат* на единственном окне в комнате. Бьющий в окно дневной свет делает этот *плат* золотым и тенями прочерчивает по нему *крестообразье* оконного переплета. Метафора чисто зрительная, однако ассоциативная паутина возникает и тянется от слова: «плат» (и «крест») — несение Креста — святая Вероника — Спас Нерукотворный etc. То, что подсознательно настраивает читателя на ожидающие героя в финале «крестные» страдания...

Изображение утрачивает полисемию слова. Направить ассоциации в то же русло, куда вел их текст, невозможно: иная знаковая система. Другой язык.

У книги и спектакля/фильма — разное *время*. В любом «описании» оно как бы сжимается, сворачивается до размеров текста (и срока чтения). Чтобы после развер-

нуться, расправиться в читательском воображении, сознании, опыте.

Даже гениальный режиссер не может уделить знаменитому толстовскому описанию дуба больше полуминуты, не рискуя наскучить зрителю, потерять его внимание. Сценическое/экранное время сконцентрировано по определению («продолжительность спектакля»), его условность задана, причем односторонне, от художника к публике. В отличие от читателя, зритель не может остановиться, помедлить, повторить, подумать, прежде чем двинуться дальше (и в этом смысле *синтетическое* «видео» все-таки ближе к чтению, чем к зрелищу).

Условность всего *зрелищного* времени словно бы делает «безусловными» его отдельные фрагменты-эпизоды (упустишь часть — не поймешь целого). Это время не может «развернуться» в зрителе — просто по иной природе своей, потому что было режиссером не «свернуто», а расчислено по хронометру.

Времена не совпадают — и совпасть не могут. Другой язык.

Стало быть, речь следует вести о *переводе* — с языка на язык, из одной системы знаков и образов в другую. Об одной из самых сложных проблем в искусстве, в интеллектуальном пространстве, в духовности.

Чем совершеннее *оригинал*, тем менее он *переводим*. И тем сильнее соблазн перевода.

«Я всегда точно знал, — записаны у меня слова Шервинского, — что даже самый лучший перевод неизбежно уступает оригиналу, *не может достигнуть* его. Не говоря уже — превзойти. Ну, а то, что в переводе можно сделать лучше оригинала, и переводить не стоит. Важно только чувствовать меру допустимого “проигрыша” оригиналу. Иначе этой истиной можно оправдать любой провал»...

Гений решает задачу, не задумываясь, имеет ли она решение. «Ромео и Джульетта» — *инсценировка* новеллы Матео Банделло. Сделанная, можно сказать, с *подстрочника*: Артур Брук перевел это сочинение на английский тридцатую без малого годами раньше...

По словам Шервинского, Брюсов часто *шлифовал* стихи на ходу, по пути с Цветного бульвара в «Метрополь» или обратно. Не *гулял*, а двигался из пункта А в пункт Б. И это мешало пластическому совершенству стихотворений: пространственное ограничение оборачивалось ограниченностью *прикладного* мастерства.

Однажды Шервинский проделал эксперимент: составил небольшой сборник из общеизвестных стихов Брюсова, записанных/прочитанных... от конца к началу. Внутренне статичные, они легко поддались этому. *Сделанность* обратима.

От Брюсова, признанного вождя символизма, Шервинский за полтора десятка лет дружбы ни разу не слышал слова «символизм».

Брюсовские размышления о поэзии подчас поражали неожиданностью. Например, когда Брюсов, которому Крылов, по тогдашним представлениям Шервинского, должен был быть совершенно чужд, внезапно стал говорить о высочайшем стихотворном мастерстве Крылова — и даже показывать на примерах. «А в устах Брюсова, — напомнил Шервинский, — “*мастер*” было одной из высочайших оценок».

«Я как-то спросил его, — рассказывал Сергей Васильевич, — “Валерий, вы верите в загробную жизнь?” Он ответил мгновенно: “Я не верю, я — знаю”... Вот в этом все и дело. Валерий Яковлевич *знал* о Боге все, что может знать смертный, но не чувствовал его в себе, в душе. И потому его стихи, — помедлил, уточняя слово, — так... безблагодатны».

Эпитет получился резким. Но в интонации не было *оценки* — только мысль, которую интересно додумывать.

И после паузы: «Вы знаете, какими были последние слова Брюсова?» — «Нет». — «А это ведь очень важно — последние слова художника, поэта... У Брюсова: “Мои стихи”... Вот о чем мы только что говорили»... — «От чего он умер?» — «От воспаления легких». — «Поздно определили?» — «Да нет, сразу. Как только Брюсов вернулся из

Коктебеля и слег, я привез к нему своего отца. Он пробыл у больного минут двадцать, вышел и сказал, что положение безнадежно. Я, как вот вы сейчас, тоже удивился — неужели ничего нельзя сделать? А он ответил, что организм Валерия Яковлевича так искажен, нет, он употребил слово “испорчен”, морфием, что любая попытка лечить только продлит мучения»...

И тут я сообщил Сергею Васильевичу, что, видимо, могу наконец ответить ему на когда-то заданный вопрос о загадочной для него Брюсовской странности. Вскоре после революции Валерий Яковлевич, оставшийся без средств к существованию, *всерьез* намеревался *поступить на службу* — бухгалтером... конного завода. А потом вступил в партию — и все у него «наладилось».

Морфий подсказал, что никакой загадки нет: что бы вокруг ни происходило, на конном заводе, пока он существует, практически всегда есть наркотики — ими *успокаивают* чересчур впечатлительных жеребцов-производителей, ибо излишняя нервность может повредить их потомству. Отсюда, говорят, и пошло выражение «лошадиная доза».

Ну, а большевики о нем — в этом смысле — *позаботились*. Как *заботились* и о других *нужных* людях, страдавших тем же недугом. О Чичерине, например...

Из разговоров. Приехал к Шервинскому после службы — похвастался, что хорошо провел время. Готовил к печати статью о Ломоносове. Весь день просидел в библиотеке: читал Ломоносова, сверял цитаты.

«Ну и как?» — «Есть очень хорошие стихи». — «Но ведь немного?» — «Да много и не надо»... — «Тоже верно... А знаете, почему — есть? Умный человек был». — «У Пушкина их побольше»... — «Это потому, что Пушкин — *очень умный*»...

Я как-то спросил его: какое из разнообразных занятий, которыми ему доводилось заниматься в жизни, было самым утомительным? «Разговаривать с дураками. Это — расточительство». — «Я тоже от них сильно устаю — чувствую, что сам глупею, тупею». — «Ну, вам это не грозит.

Ведь у вас всегда есть возможность почитать после этого Вяземского или Баратынского — с *умными* поговорить»...

Осенью 85-го Шервинский вернулся в Москву позже обычного, в конце октября, — пережидал на даче в Кратове у старшей дочери, Анны, покуда младшая, Катя, командовала затянувшимся ремонтом в его квартире. Все бы ничего, да с обоями тем летом случились «перебои» (а с чем не случилось?), удалось добыть лишь нечто яркое, в крупных и пышных цветах. Делать нечего, пришлось оклеить ими, в том числе, естественно, кабинет.

Сергей Васильевич встретил, по обыкновению, на пороге, опираясь на палку, которую почтительно именовал «Григорием», улыбнувшись, сделал приглашающий жест в кабинет, где у окна Елена Владимировна поливала цветы: «Прошу в мой... будуар!» — «Сережа! — укорила жена, — ну, что ты говоришь глупости!» — «Леля, — парировал Шервинский, — не могу же я все время говорить только умные вещи». И, устроившись за столом, добавил: «Только умный человек может позволить себе говорить глупости»...

В то лето, в июне, я навестил его в Кратове. Он вышел на веранду вялый, с видом слегка сонным, сутулясь, словно бы под пресловутым «грузом лет». На вопрос о самочувствии — не дань приличиям, но выяснение возможности заняться делами — посетовал: «Как-то я в последнее время кисну. Еще больше ослеп и почти совершенно оглох, но с этим странно: бывают дни, когда совсем ничего не слышу, а бывает и неплохо... Но что больше всего меня... нет, не угнетает, угнетаться тут уже нечего, печалит, огорчает, что ли, так это мое полное творческое бесплодие. За то время, что мы с вами не виделись, я могу предложить на ваш суд всего-навсего четыре приличных перевода»... Не виделись мы чуть больше месяца. Так что о «бесплодии» можно не особо беспокоиться...

Заговорили о Бараташвили. Давным-давно, в конце 30-х годов, затеяли в Грузии конкурс на лучший перевод всего наследия (37 стихотворений и поэма) этого, как тогда говорили, «грузинского Лермонтова». Все поэты, по-

желавшие в конкурсе участвовать, получили идеально — *академически* — выполненные подстрочники. Замысел вскоре заглох — устроители конкурса сочли переводы Пастернака заведомо лучшими из возможных, к тому же имя переводчика, безусловно, обеспечивало успех всему предприятию. Папка с переводами Шервинского (и подстрочниками) пополнила его архив.

Я прочитал переводы, сравнил с подстрочниками и, будучи весной в Тбилиси, рассказал о них на одной из встреч в Союзе писателей. Там заинтересовались: почему бы и не издать «еще одного» *полного* Бараташвили — в исполнении переводчика, так скажем, далеко не безвестного. Резонно рассудили, что репутации пастернаковских *переводов-шедевров* уже ничто не повредит, а книжка может получиться вполне достойной.

С этим я и пришел к Шервинскому. Он поинтересовался, насколько серьезны те люди, с которыми велись переговоры. Долго молчал, перебирая мысленно какие-то свои соображения. Потом, *оформив* их, поделился: «Тут вот какой вопрос: а удобно ли мне, солидно ли мне — в моем возрасте и нынешнем положении — снова обращаться к грузинам, которые однажды — лет двадцать назад — отвергли эту работу, хотя я считаю ее сделанной чисто, аккуратно и добросовестно — и думаю, что, наряду со знаменитыми переводами Пастернака, опозитизировавшего Бараташвили, имеют право на существование и мои, которые во многом ближе к подстрочнику и, смею думать, к оригиналу... Так что, может быть, оставить все как есть?»

Все так и осталось как есть. Без нашей помощи. В Тбилиси «передумали». Не из опасения ли, подозреваю, именно *близости* переводов Шервинского к подстрочнику — и оригиналу? Как знать...

А переводы эти не изданы по сию пору.

Кстати, именно в Кратове несколькими годами ранее возник и по большей части осуществился замысел переведенной Шервинским книги «Из арабской классической поэзии»: два поэта VII и IX веков — Омар ибн Абн Рабиа и Абу Навас.

Шервинский подарил мне эту книгу в декабре 83-го. Недели две спустя — на мои слова, что книга вышла удачная, — улыбнулся: «Наверно, потому что она — дачная»...

Вторым этажом Краатовского дома владела семья замечательного арабиста Исаака Моисеевича Фильштинского, который был помоложе Шервинского на четверть века. Вот они вдвоем, по-соседски, и коротали летние досуги, придумывая, продумывая, сотворяя книгу, прогуливаясь с нею за двенадцать-тринадцать веков от своей обшей дачи.

Пойдем и посидим на берегу Евфрата,
Доколе ночь еще созвездьями богата...

Ученый исчерпывающе консультировал поэта, снабдил книгу предисловием и примечаниями, с радостью воспользовался уникальной возможностью донести свою любовь к этим поэтам до русского читателя.

Однажды я вскользь назвал его «переводчиком». Шервинский тут же прервал беседу — поправил: «Я — поэт. А перевод — лишь *форма* моей работы. Переводчиков в поэзии нет и не может быть. Ведь поэзия непереводаема».

В декабре 82-го в Тартуском университете Лотмана спросили — считает ли он перевод *вообще возможным*? Он ответил мгновенно: «Конечно, нет. Но мы ежедневно делаем, осуществляем множество вещей, теоретическую невозможность которых ничего не стоит доказать»...

В споры о преимуществах перевода с оригинала, по сравнению с подстрочником, о возможности/невозможности хорошо перевести с языка, которого не знаешь, Шервинский никогда не вмешивался. Для него все это было несущественно. Главное: тот, кто берется переводить — стихи ли, прозу, без разницы, — должен, обязан превосходно знать язык, *на* который он переводит. Остальное — дело таланта, опыта, интуиции. *Угадать* множественные смыслы сказанного Верленом или Гёте, при знании французского или немецкого, подчас ничуть не проще, чем, не

зная армянского или арабского, вникнуть в сочиненное Туманяном или Абу Навасом. Правда, во втором случае надобно располагать первоклассно сделанным подстрочником и возможностью посоветоваться со *знатоком* — филологом, историком именно этой литературы.

Интуиция Шервинского, верно служившая ему в переводах, подчас и за пределами этого занятия выдавала эффект совершенно загадочный.

В начале зимы 73-го я набрел у букиниста на роман Шервинского «Ост-Индия», изданный сорока годами ранее. Купил книгу, о существовании которой прежде не слыхивал. И отправился к автору — удовлетворять любопытство: с какой такой стати ему вздумалось сочинить *роман*, да еще — Голландия, XVII век, самый яркий в истории этой страны и поистине *золотой* в ее литературе (отмечу в скобках, что роман оказался — не оторваться, и написан хорошо).

Шервинский рассказал, что на пороге своего сорокалетия он задумался: чего еще *не делал* в литературе. Разве что романов не писал.

И написал.

Через несколько лет — у того же, к слову, букиниста, в Камергерском, — выловил я второй экземпляр. Подарил Витковскому. А он как раз в ту пору общался с приехавшим поработать в московских архивах голландским русистом Яном Паулом Хинрихсом. И дал ему почитать. Яну Паулу роман понравился, а знание автором голландского языка и литературы поразило. Потому что, сказал он, в романе явно использованы мемуары некоего голландца XVII века, с него и главный герой написан. Мемуары те в последний раз издавались очень давно и на другие языки не переводились.

Я рассказал про это Шервинскому, добавив, что и не подозревал о его познаниях в голландском. «Ни одного слова! — отчеканил Сергей Васильевич. — Я и о книжке той впервые слышу. А пользовался совсем другой, французской, откуда взял кое-какой *материал*, остальное, включая главного персонажа, придумал. От начала до конца».

Из разговоров. Май 82-го. «Вот, в машинке, — лист, где осталось перевести последние две строки Катулла. Это будет полный Катулл в моем переводе. Первый перевод из него я сделал семьдесят один год назад. И все эти годы я читал его и любил его больше всех — вместе с Пушкиным, не вместе — наравне. И так с ним сжился, что, появившись он сейчас здесь, обратился бы к нему запросто: “Валерий”... В 11-м году я перед ним, можно сказать, благоговел»...

Книга вышла в 86-м.

Ни полного Катулла, ни Овидия, да и вообще абсолютного большинства переводов, ни пушкинских шуток — вообще *литератора* Шервинского могло и не быть.

Он рассказывал, что, завершая в 1913-м учение в Московском университете, четко спланировал свое будущее. Будущее историка искусства — живописи, скульптуры, архитектуры. Составил план: после университета отправиться в Вену и, *доучившись* несколько лет у профессора Йозефа Стжиговского, остаться в тамошнем университете — преподавать.

Таково было *практическое* впечатление от прочитанных им в самом начале 10-х годов книг Стжиговского «Восток или Рим» и «Малая Азия».

Шервинский говорил, что считает Стжиговского «Коперником искусствознания», что его труды перевернули всю машину бытовавших тогда представлений о развитии средневекового восточноевропейского, да и вообще всего европейского искусства, шире — культуры. Он доказал, что истоки христианской культуры тянутся не от Рима, как полагали до того, что в основе христианского искусства — доминировавшего, наряду с готикой, византийского — лежит восточное — философское и художественное — мышление, прежде всего арабское, но не только. Античность по-настоящему *открыта* была позже, всколыхнув прокатившуюся по Европе трехвековую волну Ренессанса.

Ныне сие общепонятно. Но для понимания понадобилось не одно десятилетие.

План не осуществился — началась Мировая война. И отрезала Шервинского, цитирую, «от всей классики евро-

пейского искусства». Заниматься исследованиями по репродукциям и копиям он считал несерьезным, ограничиться русским искусством — односторонним.

И ушел в литературу.

Однако у поэтов *созвучия*, даже самые отдаленные, возникают словно бы сами собой. Когда между выходом «Метаморфоз» Овидия и завершением работы над Катуллом появляются переводы из Омара ибн Аби Рабиа и Абу Наваса. Или когда он, «на заре туманной юности» сочинивший нашумевшую среди знатоков работу «Венецианизмы в архитектуре Архангельского собора Московского Кремля», с которой, собственно, и началось обстоятельное изучение «итальянизмов» в Кремлевской архитектуре, в 30-х и 40-х годах по приглашению Ивана Владиславовича Жолтовского ведет в Архитектурном институте семинар «Средневековая армянская архитектура».

«Италии было суждено, — писал Стжиговский в книге «Восток или Рим», — вторично познакомить Европу с восточноарийским куполом <...> Возрождению суждено было признать существенное преимущество простого армянского купола и на длительное время дать ему место в европейской архитектуре»...

Отсюда, думается мне, тот неослабный и всеобъемлющий интерес Шервинского к Армении — к истории, быту, архитектуре, живописи, литературе. Здесь — место *пересечения* Востока и Запада, вещные признаки целостности той культуры, в которой он был взращен и воспитан, в которой он жил...

Он любил Армению.

За буйную щедрость Араратской долины, где все словно бы *само* — растет, цветет, плодоносит.

И за то, что она же, Армения, — нагорье Ширак, лоскутки пригодной для посева земли среди выжженных солнцем камней. Эту землю приходилось носить на себе от подножий, из крохотных долин, и поить ее водой, которую надобно сюда возить, иначе — пустыня.

И за то, что большинство армянских поэтов и художников — из Ширака...

Над книгой «От знакомства к родству», единственной у Шервинского — при жизни — книгой *избранного*, мы с Сергеем Васильевичем работали больше двух лет. Он не раз повторял, что спешить ему уже некуда и что сделать эту работу хочет с особою тщательностью, придти к читателю так, как никогда прежде не доводилось. И уйти...

Торопить его я не пытался, да и как прикажете поторапливать поэта, которому — за девяносто...

А началось все осенью 81-го. Будучи в Ереване, я заинтересовался у одного из моих тамошних литературных друзей: как в Армении намереваются отметить близящееся девяностолетие Шервинского, последнего *живого* участника легендарной Брюсовской антологии армянской поэзии, друга Исаакяна, Сарьяна; да какое из ярких имен ни назови — любое окажется тесно связано с Шервинским. Выяснилось, что про это как-то не подумали. Конечно, позовут, поздравят и прочее, но ведь он бывал тут уже десятки раз, ну, опять послушает разные замечательные слова о себе, ничего особенного, нового...

Так возникла мысль — издать в Армении книгу Шервинского — такую, какой никогда не было, какую он сам хотел бы увидеть. Ведь он, переведший десятки тысяч чужих строк, тоненькую книжку собственных стихов издал только раз, семьдесят лет назад, переиздал, правда, за собственные деньги в 1924 году, но это — не в счет.

Понятно, к юбилею с изданием не поспеть. Однако сама работа над подобной книгой — чем не *юбилейное* занятие для поэта?

Однако в насквозь *плановом* хозяйстве все механизмы, как известно, были на диво неповоротливы. Издательский — не исключение. Потому говорить с Шервинским о будущей книге мне довелось только весной 83-го. Он согласился. Но выдвинул два условия. Первое: работаем над нею вместе, вдвоем. Он — автор, я — составитель, редактор, первый читатель, наконец. Второе: вступительный очерк пишу тоже я. На возражение, что в самой Армении наверняка есть люди, знающие его дольше и лучше, ответил: «Были. Все уже умерли»...

Работа над книгой была *сладкой*. Буквально.

Обыкновенно, бывая у никогда не курившего Шервинского, я не курил. Визиты недлинные, дабы не утомить, — час-полтора, перетерпеть нетрудно. Но, предположив, что беседа о книге может затянуться (так и вышло), прихватил с собой плитку шоколада, эта «замена табаку» не раз меня выручала. Во время разговора достал, разломил, предложил хозяину. Он поинтересовался: «Вы любите шоколад?» — «Очень. Я вообще сластена».

И с тех пор каждую нашу встречу открывал ритуал. Стоило нам устроиться: он — в деревянном рабочем кресле с гнутыми подлокотниками, я — в мягком, сбоку от стола, — Сергей Васильевич выдвигал ящик, доставал блюдце с разломанной на квадратики плиткой и водружал ее на угол столешницы.

Потом брал нож для резки бумаги. Это означало, что готов к работе. Слушая собеседника, задумчиво вертел нож в пальцах, но, когда звучали стихи, повороты ножа становились графичней: острием вверх — вниз, вверх — вниз, словно включаясь в ритм звука...

Позже, правда, выяснилось, что дым табачный его нимало не беспокоит, а трубочный даже нравится.

...Начали, как водится, с архива. Тут на первых порах изрядно помог Евгений Витковский, готовивший в то самое время для издательства «Прогресс» книгу избранных переводов Шервинского — в серию «Мастера поэтического перевода» (каковая серия на этой книге и закончила свое существование). С головою зарывшись в бумагах, он вдруг обнаружил пачку стихов Шервинского, сшитую и переплетенную им самим в 1940 году.

Сергей Васильевич с недоумением взял находку в руки, полистал — и заявил, что впервые сие видит. И даже никогда ни о чем подобном не слышал. С неподдельным интересом разглядывал «раритет», всем видом своим демонстрируя полное отсутствие понятия: что это такое? и откуда могло взяться в доме, тем более — в его кабинете?

*Игра*ть он умел превосходно — и с видом совершенно невозмутимым, всерьез, и знаешь, что *игра*, а пове-ришь.

Упомянул я как-то Эренбурга, уже не помню, по какому поводу. Шервинский головой покачал и сказал, нет, изрек: «Илья Григорьевич был очень плохой человек». — «?» — «У него была старшая сестра, и ей — к выпускному гимназическому балу сшили первое “взрослое” платье. И когда она это платье перед балом примеряла, Илья Григорьевич *умышленно* опрокинул на него баночку сардинок»...

И то, что Илья Григорьевич после этого прожил еще лет семьдесят, написал десятки книг, дружил с лучшими поэтами и художниками столетия, вроде бы, не имело ни малейшего значения по сравнению с этим вопиющим проступком.

Тут важно не попасться на крючок спора — Шервинский только этого и ждет. И сдвинуть себя с «убеждения» не даст ни на микрон...

Или другой случай. Спросил его о Сигизмунде Кржижановском. «Это кто?» Я объяснил. «Впервые слышу», — так твердо и убедительно.

Ну, не рассказывать же ему, что читал я протоколы заседаний Шекспировского кабинета ВТО и что отлично знаю: там, у Михаила Михайловича Морозова, во время войны еженедельно собирались литераторы и театроведы, и Кржижановский выступал с докладами чуть ли не через раз, и выступления эти подчас обсуждались довольно бурно, и, наконец, что среди участников этих обсуждений завидным постоянством отличались Ланн, Маршак, Шенгели, Михоэлс, Дживелегов и... Шервинский.

Остается только гадать — почему *не захотел вспомнить?*

И уж совсем несладко приходилось тем, кто были с Шервинским едва знакомы.

Кажется, в 87-м ему присудили премию имени Егеше Чаренца. Позвонили из Еревана, сообщили-поздравили, сказали, что понимают — приехать он не сможет, трудно (получать премию отправились внучка с мужем), и попросили — нет, не речь, всего несколько слов, которые прозвучат при вручении, на днях пришлют мо-

лодого человека, в Союзе писателей служит, он запишет на магнитофон. Все это Сергей Васильевич мне пересказал, предваряя просьбу — приехать назавтра, немного раньше ереванского визитера, он хотел бы узнать мое мнение о сочиненном тексте, ну и хорошо, если бы я мог при записи присутствовать.

Я приехал. Послушал. Сказал, что, пожалуй, «розыгрыш» чересчур жесток. «Никакой не розыгрыш». — «Да, полно...» — «Сами увидите».

Появился гость. После приветствий и поздравлений расположился у окна, за столиком, проверил магнитофон. Подал знак, что готов записывать. И Шервинский выдал заготовленное: «С большим удивлением, — раздельно четко проговорил он, — я узнал о присуждении мне премии имени убитого вами поэта Егише Чаренца. Поэтому о моей благодарности не может быть и речи».

И замолчал.

Немая сцена длилась и длилась. Три минуты молчания. Потом молодой человек, слегка заикаясь, выдавил из себя, что это... ну, в общем... то есть... И тоже замолчал.

И тогда Шервинский жалился над ним. «Ну, хорошо, давайте попробуем иначе. Включайте свою машину». И тут же, сразу набело, без «дублей», записал трехминутное выступление, каковое потом и прозвучало в Ереване...

Кстати, о магнитофоне. Я сразу предложил записывать наши беседы, хотя бы наиболее *информативные* куски. Чтобы мне потом легче было их использовать — в очерке. Шервинский отказался наотрез. Сказал, что не желает разговаривать со мной *при свидетеле*. К тому же — подчеркнул — *механическом*.

Потому всякий раз, выйдя от него, тут же, на скамейке у подъезда, я торопливо писал, стараясь дословно, самое, по мне, важное из услышанного, а потом, в метро, по пути домой — от Лужников к Сокольникам — воспроизводил и весь *сюжет* минувшего вечера. Из тех листков и перекочевала в нынешние заметки вся *прямая речь* наших диалогов.

«А напротив, на Новодевичьем, похоронены все мои предки», — закончил однажды Шервинский рассказ о

том, что вся жизнь прошла «по прямой» — от Пречистенки, 17, где родился, через собственный дом отца, а затем его самого, более полувека, в Троицком (Померанцевом) переулке, что напротив некогда знаменитой Поливановской гимназии, — сюда, к Новодевичьему.

...Довольно быстро сошлись на том, что в книгу войдут: оригинальные стихи, античные и армянские переводы. В прозаическую часть: примерно четыре пятых небольшой книги-рукописи «Около театра» — о работе во МХАТе во второй половине 20-х годов, воспоминания, путевые очерки — о поездках в Италию и Северную Африку.

Сомнения — на каждом шагу.

О стихах. Перечитывает вслух строфу из «Бахчисарая»:

Странно, что из этих комнат ломких,
Залюбясь с царицей не тайком
Руси всей Таврический Потёмкин
Угрожал ленивым чубуком.

«Вот против этого стихотворения мои домашние возражают: Потёмкин никому не угрожал». — «Пускай останется». — «Пускай»...

Заодно — по ассоциации — пускаемся в разговор про то, что *угрожающие атрибуты* в русской поэзии бывали весьма неожиданными: от Пушкина («...Но оба с крыльями и с пламенным мечом,/И стерегут... и мстят мне оба...») и до Чуковского («...И усами шевелит...»).

Воспоминания Шервинского сыграли некоторую роль в судьбе ахматовского наследия.

Узнав от Эммы Григорьевны Герштейн о подготовке к изданию двухтомника Ахматовой, я заинтересовался: включен ли во второй том, где проза и переводы, текст последнего публичного выступления Ахматовой — «Слово о Данте», прочитанный ею 19 октября 1965 года в Большом театре, на вечере, посвященном 700-летию со дня рождения автора «Божественной комедии». С характерной

для нее безапелляционностью Э. Г. ответила, что никакого «текста» в архиве нет, его не существует и никогда не было, что Анна Андреевна говорила без листков, нечего искать. Я возразил, что, по свидетельству — письменно — Шервинского, текст был за несколько дней до выступления читан ему «по тетрадке» и что они тогда же — вдвоем — сделали в нем небольшую композиционную поправку.

Отыскать тетрадку не удалось, но сам поиск привел в Центральный государственный архив звукозаписей, где обнаружилась полная фонограмма того вечера. И по ней «Слово о Данте» было воспроизведено в книге — с единственной мелкой лакуной из-за дефекта записи...

Отступление об Александре Кочеткове. Прочитав «Ахматову в ракурсе быта», я стал расспрашивать Шервинского о Кочеткове, который в этих мемуарах — один из ярких персонажей.

«Прежде всего, — спросил Сергей Васильевич, — вы когда-нибудь видели его портрет?» — «Никогда». — «А это важно. Мы с ним как-то раз навещали нашего друга в психиатрической лечебнице. Потом Александр Сергеевич вышел, а я задержался с врачом — переговорить. И он предложил мне на некоторое время положить к ним Кочеткова. Его нервность и готовность “отсутствовать” бросались в глаза. Да, сами увидите, сейчас найдем».

Перебираем альбомы, пока не находим «Армянский», 30-х годов. Часть его посвящена «бригаде», переведившей тогда «Давида Сасунского»: Владимир Державин, Александр Кочетков, Константин Липскеров, Сергей Шервинский. Далее — еще несколько фотографий, где можно разглядеть Кочеткова, но не столь отчетливо, как на первой. Впрочем, всюду видно, что горло его нигде не перехвачено застегнутым воротом сорочки, и возникает ощущение — если застегнуть воротник, он тут же задохнется — нестесненное дыхание читается как неперемное условие самого существования его. В лице — напряжение, не смягчаемое улыбкой, крупные, несколько вялые губы, черты не особенно тонки, однако нервность и впрямь бросается в глаза, даже в этой фотостатике.

«Мы познакомились с Александром Сергеевичем в конце 30-х. Его прислал ко мне Липскеров». Стихи Кочеткова понравились Шервинскому. И когда он набирал «бригаду» для работы над армянским эпосом, пригласил в нее и Кочеткова. «У него был, знаете ли, замечательный *аппарат* для стихосложения — и, разумеется, для перевода. Правда, для запуска этого *аппарата* требовалось довольно много “горючего”, как это обыкновенно бывает с алкоголиками. А Кочетков болел алкоголизмом в тяжелой форме. Это была болезнь наследственная, от отца. И она, в конце концов, разрушила его здоровье. Правда, немалую роль тут сыграло то, что, начав заниматься переводами в Армении, Александр Сергеевич вскоре перебрался в соседнюю Грузию, где поэты, желавшие, чтобы он переводил их, весьма энергично спаивали его»... — «Ахматова знала его стихи?» — «Нет, никогда не слышала. Они встречались, когда Анна Андреевна жила у нас в Старках, а Александр Сергеевич обитал поблизости. Но, вероятно, он, болезненно застенчивый, не рискнул почитать ей стихи».

Он мало и неохотно рассказывал о себе. Шервинский смог припомнить немного: что Кочетков родом «откуда-то из Поволжья» и что в нем было довольно много немецкой крови. «Язык он знал с детства, и знал превосходно. И вообще в нем легко можно было обнаружить нечто *немецкое*. Он был романтичен, но, я бы сказал, *по-немецки* романтичен. С тягою к красивым вещам в ближнем своем окружении — и с беспомощностью в практической жизни, что странным образом уживалось в нем с замечательной работоспособностью. Деньги у него не задерживались — и не потому, что пил, просто я нередко в жизни встречал таких особенных людей, которые, сколько бы ни зарабатывали, почти всегда были без денег, порода такая, что ли...»

Этот мотив был мне знаком. Однажды мы разговаривали о Грине, и на фразу мою, что Грин в Крыму обыкновенно бедствовал, потому как пил, Шервинский возразил, что это никак не могло быть причиною. Ведь в 20-х годах Грин много печатался, даже собрание сочинений выпускал, а гонорары тогда были щедрыми: «Я тогда зарабатывал переводами больше, чем когда-либо до или по-

сле». И заговорил про эту *необычную* породу людей, у которых деньги словно бы утекают сквозь пальцы...

«Отношения Кочеткова с женой, Инной Григорьевной, всегда мне были не вполне ясны. На мой взгляд, она мало подходила ему. Делами его поэтическими не интересовалась, за исключением, пожалуй, заработков. Но он перед нею романтически благоговел, видел в ней ни на кого не похожее, *неземное* существо, даже, если мне не изменяет память, оставался с ней “на вы”... На окружающих, я уже говорил, он производил впечатление странное. Например, тем, что однажды появлялся в роскошном зимнем пальто, а в следующий раз — буквально в лохмотьях, и прежнего пальто на нем больше никто и никогда не видел»...

Подобные мемуарные ответвления в работе над книгой случались нередко. Шервинский охотно пускался в эти прогулки по временам отдаленным. Удивительно сейчас думать, что мы оба совсем не спешили. Хотя Сергей Васильевич не раз повторял: «Возраст такой, что нельзя загадывать даже на несколько месяцев»...

О переводах из Исаакяна, их довольно много. «Здесь надо быть осторожным. Я ведь однажды дал часть этой работы ныне покойному Анатолию Сендыку, ему тогда печататься не удавалось, а зарабатывать надо. Я и подписал его переводы. А некоторые мы вообще делали вместе — две строки он, одну я». — «Буриме?» — «Примерно так».

Показываю, что выбрал. «Почитайте-ка вслух». Вслушивается пристально. Комментирует: «Это, пожалуй, я... Нет, определенно я»...

И тут же вспоминает, как Исаакян однажды показал ему фотографию, где снят был между одиозным профессором-литературоведом и тогдашним председателем Союза писателей Армении: «Посмотрите, среди каких разбойников я запечатлен»...

Зная о портрете Шервинского работы Сарьяна, говорю, что хорошо бы дать его в книге, «для Еревана» — что может быть лучше? «Ни в коем случае!» — «Почему?» —

«Совершенно неудачный. Думаю, что Мартирос Сергеевич написал его не столько из интереса к “натуре”, сколько по долгу — долгих наших с ним отношений. Вот и не получилось». Уговариваю, не без труда, все же показать мне портрет. И убеждаюсь, что Сергей Васильевич прав...

О переводах. Выбирает придирчиво. Говорит, что и в Армении иной раз приходилось переводить не только то, что хочется, но и просто для заработка.

Отвлекается, несколько минут роется в столе и протягивает небольшую папку. В ней — рукопись 30-х годов: перевод — не помню, с какого языка, — стихов автора, о котором я ни до, ни после никогда не слыхивал, потому и не запомнил. Вверху слева — чуть наискосок — приписано: «Это я сохраняю как свидетельство, чтобы знали, какую дрянь нам приходилось переводить. С. Ш. ».

Ну, а раньше, в начале 20-х, когда переводы еще не могли прокормить, чем зарабатывали, спрашиваю. По-разному. Например, создали училище, где преподавали Флоренский, Жолтовский, Габричевский, Шервинский и другие...

Я предложил закончить переводной раздел книги стихотворением «К Мельпомене» Горация.

Создал памятник я, бронзы литой прочней...

Далее — собственные стихи. «А не рискованно?» — «Кто не рискует...» — «Да. Тем более, *беда-то* в том, что это стихотворение у меня *получилось*».

Несколько лет прослужил он ученым секретарем Музея изящных искусств, куда привел его Владимир Константинович Мальмберг, заступивший на директорское место после смерти Ивана Владимировича Цветаева.

Тогда, в 20-х, музей едва дышал. И заправляли в нем не ученые, а так называемый «младший персонал»: рабочие, грузчики, уборщицы, — одно слово, пролетариат. Любого, кто им не нравился, могли уволить, «вывезти на

тачке». Буквально: силою погрузить на тачку, выкатить за ворота и вывалить наземь. Решение окончательное, обжалованию не подлежащее.

Однажды подошел к Шервинскому сотрудник, у которого судьба складывалась трагически: жена тяжело болела, единственный брат уже несколько месяцев сидел на Лубянке в камере смертников и прочее в том же русле. Сказал, что подслушал случайно, как рабочие сговаривались его «вывезти на тачке». А это — конец, и так заработка еле-еле на самое насущное хватает. Шервинский согласился с ними поговорить, заступиться. «Они знали, — пояснил, — что мой отец — известный врач, а в простом народе еще сохранялось почтение к врачам, даже робость перед ними, и на меня это их чувство каким-то образом распространялось».

Спустился он в подвал, попросил не трогать и без того несчастного, уговорил.

«Возвращаюсь, прохожу через Греческий дворик. Стекланный потолок разбит. Морозно. Снег валит на античный “мрамор”»... Он помолчал. И с внезапную страстью выдохнул: «Ох, и гнусное было время!»

Из разговоров. Упомянул я Шенгели, архивом которого тогда занимался. И Шервинский рассказал, как однажды Георгий Аркадьевич позвонил ему очень взволнованный и попросил разрешения срочно приехать.

Дело было в 52-м. Только что в «Новом мире» появилась статья Ивана Кашкина «Традиция и эпигонство». Обвинение «русскоязычных» (сей *термин-эвфемизм*, на авторство коего в 70-х годах претендовал Вадим Кожин, впервые употреблен был именно Кашкиным — и много раньше — в пору «борьбы с космополитизмом»), русскоязычных, повторю, переводчиков — Шенгели, Ланна и им подобных *носителей* русского языка и нерусских фамилий — в *намеренном* искажении западной классики.

Шенгели досталось особо: ему Кашкин инкриминировал окарикатурирование образов Суворова и русских солдат в переводе Байронова «Дон Жуана» (к слову, выполненном — и опубликованном — пятью годами раньше).

Это походило на донос. Да и было таковым: Суворов относился к наиболее почитаемым Сталиным историческим фигурам.

Шенгели появился скоро, запыхавшийся, и, не успев толком отдышаться, сообщил, что собирается... вызвать Кашкина на дуэль. И хочет посоветоваться — как это сделать? «А почему — со мной?» — «Ну, как же! Ведь вы — дворянин. И должны знать».

Понимая, что такой поступок еще опаснее для Шенгели, чем печатные Кашкинские инсинуации, но что этот довод едва ли подействует на разгоряченного собеседника, Шервинский не стал спорить. И заговорил рассудительно. *По-дворянски.*

Дуэль с доносчиком, сказал он, для дворянина невозможна. Она — бесчестье, признание равенства своего с доносчиком. И добавил: «С дворниками не стреляются».

Упоминание дворника пришло на ум по ассоциации. Задолго до 1917 года все дворники были связаны с полицией, осведомляли ее о подозрительных жильцах и вообще о происходящем в околотке. Об этом все знали. И *связью* этой нередко пользовались. «Когда я, совсем еще юный, впервые собирался в Италию, — вспоминал Сергей Васильевич, — отец дал дворнику то ли три, то ли пять рублей, и тот через несколько дней принес из участка мой заграничный паспорт».

При большевиках осведомительская роль дворников сохранилась. Но без *обратной связи*. Когда в 65-м Шервинский с женой собрались в Италию, им пришлось пройти совсем иную процедуру получения паспортов...

...Сравниваю его очерки с «Обрами Италии» Павла Муратова. «Я тоже люблю эту книгу. А вы знаете, я ведь с Муратовым был хорошо знаком. Даже дружил. И в этом кресле, где вы сидите, он у меня сживал»...

Отступление о кресле. В один из ранних моих визитов, в середине 60-х, Шервинский, выслушав стихи, заметил, что я очень точно, хотя и неосознанно, выбрал — где в его кабинете устроиться. Потому что именно в этом кресле, что я облюбовал, сживали Брюсов, Ахматова, Пастернак, Волошин, Ходасевич, Белый, Кузмин, Шенге-

ли... Квартира была другая, но кресло — это самое. И, увидев, что я нервно ерзаю, добавил, что не к тому говорит, чтобы сравнивать или меня смутить, но просто: еще один поэт читает ему стихи, сидя в этом кресле...

К декабрю 83-го непросто складывавшаяся композиция *ереванской* книги наконец прояснилась. Мы стали составлять раздел оригинальных стихов, изрядная часть которых прежде не печаталась.

И тут началась редкостная *торговля наоборот* — между поэтом и редактором: первый стремился как можно больше стихов *выключить*, второй — *включить*. Шервинскому хотелось предстать читателю, дословно, «без слабых мест», я возражал, что отсутствие *слабостей*, которые, впрочем, весьма относительны, лишает книгу, как бы поточней, переменчивости дыхания, что ли, а ведь оно едва ли на протяжении семидесяти лет *сочинительства* было одним и тем же.

Стал читать отобранные Шервинским стихи — и наткнулся на удивительную правку одной из сильнейших, по-моему, сонетных концовок в цикле «Озаренный». Вместо: «Мне возврати свободу заблужденья» — «Мне возврати способность заблужденья». Сказал, что не согласен — потерял второй, очень важный, смысл — потому что разрушен устойчивый фразеологизм «возврати свободу». Он спорить не стал: «Ну, восстановите. Моя внучка будет довольна. Она тоже считает, что “свободу” — лучше».

Летом того года Елене Владимировне нездоровилось, она впервые не смогла сопровождать Сергея Васильевича в очередной его поездке в Армению. И с ним туда отправилась Елена Федоровна, Лёля, дочь Екатерины Сергеевны.

Во всех пригласительных бумагах было сказано: «С. В. Шервинский (с внучкой)».

Начало января 84-го. Шервинский уже «окончательно» отобрал стихи для книги. «Думаю, что мне нужна неделя, не больше, чтобы сформировать “поэтическую часть” и представить ее вам на утверждение, или, как сейчас любят говорить, хотя мне это не нравится, на “добро”, то есть, если вы дадите “добро”...» — «Завизирую». —

«Именно... Можно тогда будет отдать переписчице. Ведь мы договорились, что там будет стихотворений шестьдесят». — «Семьдесят». — «Это вы сказали семьдесят». — «Нет, я сказал семьдесят-восемьдесят» (в итоге, замечу, их оказалось восемьдесят восемь). — «Забавная у нас торговля»...

И тут я рассказал ему историю про торговлю еще более занятную.

Когда Штейнберг впервые привез к Борису Свешникову Георгия Костаки, тот выбрал одну из картин и предложил за нее восемьсот рублей, деньги по тем временам немаленькие. И тем бóльшие, что Свешникову и жить-то не на что было, это потом он стал сносно зарабатывать — оформлять в Гослите книжки. «Да, я знаю Свешникова по Тарусе», — вставил Шервинский. «Верно, он же тарусянин». — «Именно тарусянин». Так вот, художник поглядел на выбранную вещь очень внимательно, подумал и сказал, что она стоит... четыреста. Начался, думаю, самый удивительный торг в истории живописи. Коллекционер, с видимой неохотой и понемногу сбавляя цену, хотел заплатить побольше. Но художник стоял на своем. И настоял.

На это Шервинский заметил, что знал подобного человека. В Коктебеле. По фамилии, если верно помнится, Крункель. У него там было что-то вроде лавки. Все коктейльницы его знали, обыкновенно ходили к нему за пирожными. Он, однако, не только продавал, но и покупал. Приходила какая-нибудь московская девушка — продать что-то из мелочей, чтобы в Москву не везти, кувшин какой-нибудь, на базаре прежде купленный. Он повертит его в руках: «Сколько вы за него хотите?» — «Да, рубль...» — «Ладно, дам вам два». Ну, и с пирожными — то же самое. Приходишь к нему: «Пирожные есть?» — «Есть, — отвечает. — Но не советую». В другой раз: «Дайте десять пирожных». — «Лучше возьмите пять»... Не мудрено, что он с такой торговлей прогорел. А прежде был издателем, в начале XX века Маркса издавал. Не исключено, что и читал издаваемое. «Капитал», например...

В той книге есть одно стихотворение, которое очутилось там неожиданно для автора. Вот оно:

А можно, глядя на скворешню,
На ряску сонную пруда,
В духу крапив и яблонь здешних
Просозерцать свои года.

Лишь изредка, под облаками
Оставшись за полночь одна,
Неостывающая память
Луной спускается до дна.

1985

Шервинский прочитал мне его, когда книга в Ереване уже была почти готова. Сказал, что оно «бродило» у него в голове лет двадцать, а то и больше. И наконец недавно дописалось. На десятом десятке.

Я, почти отвыкнув запоминать стихи — целиком — с голоса, сбился в пятой строке (повторяя про себя, чтобы не ускользнуло). И попросил Сергея Васильевича повторить. «А вам зачем?» — «Хочется». — «Мало ли чего вам хочется». Но — повторил.

Не мог же я ему признаться, что сразу решил «втихую» вставить стихи в книжку. С датой.

Что и было сделано несколько дней спустя — по телефону.

Шервинский говорил, что пишет кратко и просто потому, вероятно, что уже не может писать длинно. И тут же себе возражает: «С краткостью нужно осторожно обращаться — она всегда грозит перейти во что-то иное, в искусстве не очень желательное»...

Граница между несказанным и несказанным едва обозначена. Сам не заметишь, как переступишь.

Мы про то беседовали несколько раз. Меня раздражало обилие восхвалений «краткости — сестре таланта» (по моему мнению, не более чем сводной) или «тесноте словам — простору мысли», этакой коммуналке изящной словесности. И это — именно в русской литературе, в поэзии, которая дала великолепные образцы *забалтывания*, прекрасные, роскошные.

Сергей Васильевич живо откликнулся: «Да, действительно, великолепные!»

То же — с простотой. Она — штука довольно скользкая. А соскользнешь — куда?

«Я иногда задумываюсь, — размышлял Шервинский вслух, — мог бы я написать так, как Алексей Толстой, — проще некуда:

Ты знаешь край, где все обильем дышит,
Где реки льются чище серебра,
Где ветерок степной ковыль колышет,
В вишневых рощах тонут хутора...

Да, наверно, не мог бы. Ведь все теперь другое — откуда *этому* взяться?»

А я припомнил, как в одну из первых «рабочих» наших встреч он ужасно ругал Толстого — за знаменитое:

Средь шумного бала, случайно,
В тревоге мирской суеты,
Тебя я увидел, но тайна
Твоя покрывала черты.

Лишь очи печально глядели,
А голос так дивно звучал,
Как звон отдаленной свирели,
Как моря играющий вал... —

говорил о «пустом» втором стихе и банальности — после пушкинской-то лирики! — всей второй строфы (по мне-то, она попросту комична: и невозможный «звон свирели», и чудовищное «как моря играющий вал»), и далее — так, что дальше уже некуда: «...люблю я, усталый, прилечь»... И вообще весьма скептически отзывался о поэзии А. К. Толстого.

А вот на тебе...

...Перечисляя в конце очерка своего крупнейших представителей отечественной школы стихотворного перевода, я назвал среди них и Маршака.

Шервинский решительно снял это упоминание, сказав, что вовсе не считает для себя честью *фигурировать* рядом с Маршаком.

Ноябрь 85-го. Уже и договор наконец есть. И гранки книги мною прочитаны-подписаны. Волнения, связанные с книгой, можно сказать, *пережиты*.

Тем неожиданнее: «Как вам показалось, она... ничего?»
Приступы авторской робости от возраста не зависят.

Когда книга вышла, в доме устроили праздник. С армянским коньяком и подходящим случаю весельем.

Я вышел на кухню — покурить. Минут через пять туда заглянул Сергей Васильевич. Налил воды в стакан. Отпил глоток. И вдруг сказал: «Худо ли, хорошо, а жизнь прожита»...

Из разговоров. О Ходасевиче. «Хороший поэт. Резкий». — «Я бы сказал иначе — жесткий». — «Верно. И почти суровый — в стихах. Я с ним не раз встречался. Он в жизни был совсем не чужд юмора, розыгрыша. Я его *истории* с удовольствием слушал — и иногда вспоминаю с улыбкой. Вообще, я не раз замечал, что смешение еврейской крови со славянской часто дает прекрасные результаты — если иметь в виду людей творческих. Ходасевич был тогда женат на Анне Ивановне Чулковой. Когда он умер?» — «В 39-м». — «Где?» — «В Париже. Об этом — очень сильные страницы у Берберовой». — «Это кто?» — «Его “парижская жена”». — «Да, так о Чулковой. Вернее, о ее брате, Григории Ивановиче. Странный человек был. Он всю жизнь провел в очень хорошем литературном кругу, много писал. А после его смерти мне как-то понадобилось выбрать у него стихи для исполнения, и — ничего. Совсем ничего, достойного внимания».

Зимой 1936 года Шервинский навещал Кузмина в Мариинской больнице на Литейном. Раз в несколько дней приносил что-нибудь из еды и лакомств. Медленно гуляли по больничному двору, беседовали.

Однажды, в конце февраля, собираясь уходить: «До свиданья, Михаил Алексеевич». — «Нет, Сергей Васильевич, прощайте. Больше ко мне приходить не надо». — «Почему так?» — «Я теперь умирать буду. А это... очень некрасиво»...

Весною 91-го в серии «Забытая книга» вышла «Ост-Индия». Екатерина Сергеевна рассказывала, как заглянула с этой вестью к отцу. Он слабо улыбнулся: «Очень приятно»...

Через полтора года после Шервинского, в феврале 1993-го, в Париже, всего трех месяцев не дотянув до своего столетия, умер художник Дмитрий Дмитриевич Бушен, последний из «мирискусников» и Дягилевских *балетных дел мастеров*.

Эпоха завершилась.

Когда умрут еще живые,
И те, умершие, умрут...

Октябрь—декабрь 2008 года

г. Мюнхен
